



(Из повести)

## КАРП ЧЕРНЫЙ

*Повесть К. Черного «Восстань, пророк!», отрывки из которой мы печатаем, посвящена А.С. Пушкину. В ней рассказывается о поездке Пушкина на Кавказ в 1829 году, о его встречах с декабристами, сосланными на Кавказ, о том, как в условиях николаевской реакции, в общении с народом великий русский поэт обретал силы для широкой и вольной песни, которая, по выражению Герцена, «наполняла своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее».*

Худ. А. Муравьев, П. Горбань.

**Все в нем было необыкновенно привлекательно.**

**А. Пушкин.**

Военный губернатор Тифлиса Стрекалов давал обед. Среди гостей — чопорные в генеральских эполетах англичане. Зван был и Пушкин. Из вежливости и для удобства. Лучше, когда Пушкин рядом.

В штатском гостей было мало. Пушкин, Завилейский — губернатор гражданский, правитель канцелярии губернатора Гесслинг, еще несколько. Зато генералов — много.

У слуг дрожали руки. Чинопочитание трясло, как незаметная лихорадка. Блюда ставились рядом с генеральскими эполетами. За столом господствовала тишина. Свершалось таинство. С потупленным взглядом, с медленно двигающимися руками, особенно у англичан. Таинство чревоугодия. Пушкин не ел, глядел на англичан. Зачем они тут? Сами англичане знали, зачем они тут. 30 января в

Тегеране убили Грибоедова. Англичане не знали Грибоедова — поэта, драматурга, композитора. Им был известен Грибоедов — полномочный министр российский в Иране. Полномочного министра они не любили. И вот Грибоедов убит. Англичане изображали негодование. Разве они виноваты? Разве злодеяние не возмущало их? Полномочный министр сенджемского кабинета полковник Макдональд приказал всей английской колонии в Тебризе облечься в траур, послал протест иранскому правительству. Протест горел холодным негодованием. Огню и не следовало жечь. Огонь был как фейерверк на празднике. А слова негодующие: история народов не знала подобного ужасного случая. Среди совершенного мира погибла миссия дружественной нации.

Нина Чавчавадзе — жена Грибоедова — еще ничего не зная о смерти мужа, жила в Тебризе в доме Макдональдов. Макдональд по-отечески предупредил: надо уезжать в Тифлис. Эскорт из английских офицеров сопровождал жену покойного. Офицеры сопровождали ее для

безопасности, из бескорыстия, как джентльмены.

Из всей русской миссии в живых остался один Мальцев — первый секретарь посольства.

Мальцев дрожал от трусости и предательства. Он согласился защищать в глазах Николая шахское правительство. Дали бы только ему жизнь. Жизнь ему дали, взяв обязательство — чернить Грибоедова. И он чернил, чернил изо всех сил.

Англичане встретили его в Тебризе по пути из Тегерана в Россию с великими почестями и проводили в Тифлис тоже с великими почестями.

Паскевич оказался не в меру честным. Узнав о смерти Грибоедова, он бухнул в Петербург: «Англичане не вовсе были чужды участия в возмущении черни». Вознегодовал, стал ждать и получил выговор министра иностранных дел Нессельроде. Из письма Нессельроде следовало, что государь порицает генерала, что «Макдональд дружественно и честно к нам расположен и что писания Паскевича возбуждают ревность и подозрительность английского кабинета».

И выходило, что англичане в убийстве Грибоедова никак не были виноваты.

А между тем в Тебризе, в резиденции наследного принца Аббаса-Мирзы, рассказывали на ухо друг другу, чтобы не слышал третий.

Однажды чертова жена со своим ребенком сидела неподалеку от дороги в кустах. На дороге появился пешеход и, поравнявшись с тем местом, где сидели черти, споткнулся о камень, упал и зашиб колено. Впопыхах, от злости, он ударил ногой камень и, взвизгнув от боли, крикнул: «Будь же ты, черт, проклят!» Чертенок дернул свою мать и заплакал от огорчения:

— Как люди несправедливы. Мы так далеки от камня, и все-таки виноваты.

Мать зашипела:

— Молчи, глупый. Хотя мы и далеки, но хвост мой спрятан там, под камнем.

Присказка была в цель. Англичане жили далеко, но хвост их был спрятан в Тегеране.

Хвост был длинный-предлинный, хвост принадлежал льву. Лев заседал в Вестминстерском аббатстве. Он помахивал хвостом — в Персию плыли ружья, пушки,

мастерские, инженеры, военные инструкторы и сотни тысяч туманов. Туманы словно влага для сорняков на запущенной земле. Англичане ждали урожая. Засевали туманы — снять хотели ненависть к русским. Фетх-Али-шах еще в 1808 году призвал улемов дать фетву об объявлении «священной войны» против русских. Призыв нашел отклик, где его ждали. Шейх Джафар Неджефи, Ага-Сеид-Али-Исфагана, Мирза-Абдул-Касым, улемы Кашана, Исфагана и другие улемы составили и подписали обращение об объявлении «священной войны» против русских.

Шли годы, туманы все плыли и плыли. И вот полномочный министр убит. Русский. Туманы дали неплохой урожай.

Но англичане ели у Стрекалова выловленных в Куре лососей и вины в убийстве Грибоедова за собой не чувствовали.

А кто же был повинен в убийстве русского полномочного министра в Иране?

Ни шах, и никто из его министров не причастны к делу, которое всецело должно быть приписано свирепой и внезапной вспышке народного неистовства. Так писал полковник Макдональд Паскевичу. И шах иранский Фетх-Али-шах, скорбя о случившемся, готовил Николаю извинения:

«Мы отстранили от должности, наказали и оштрафовали даже губернатора и районного надзирателя за то, что они так поздно узнали об этом событии и проявили нераспорядительность».

Выходило так, что и иранское правительство в убийстве Грибоедова тоже не было виновато.

А кто же был виноват?

Лица, осведомленные лучше всех об этом, оказались не в Тегеране, не в Тебризе и не в Тифлисе. Они находились в Петербурге — Николай и его министр иностранных дел Нессельроде.

Виноват был сам Грибоедов. Выходило так, что Грибоедов самоубийца. Так думал царь, так следовало думать всем. Высочайшее решение, что Грибоедов самоубийца, дошло до Паскевича, когда он думал о том, как перейти Саганлугский перевал. Его величеству знать лучше. Самоубийца так самоубийца. Оно дошло и до Стрекалова в Тифлис. Стрекалову тоже

думать было не о чем. Самоубийца так самоубийца. Мало ли сорванцов на земле творят всякие безумства.

Обед у Стрекалова удался. Воздали должное винам — особенно кахетинскому и карабахскому. В саду играла музыка. Обед подходил к концу. И тогда англичане стали выражать соболезнование. Пушкин услышал, как несколько раз было названо имя Грибоедова. Он услышал, как Стрекалов, благодумствуя и борясь с дремотой, отвечал, как должно по высочайшим указаниям. Государю императору угодно думать,

что ни Фетх-Али-шах, ни Аббас-Мирза не причастны к злодейскому умерщвлению.

Он хотел еще добавить, что англичане тоже никаких суспиций не вызывают, это точно явствовало из высочайших указаний. Но тут сонливость прошла, — засыпая, черт знает чего еще наговоришь! — Стрекалов расправил плечи и отчеканил, как на плацу: — Покойный министр сам виноват во всем. Сие тягостное происшествие должно объяснить непродуманными порывами излишнего усердия покойного, царство ему небесное.

Пушкин быстро вышел из-за стола. Он сжал напряженно губы, чтобы не заплакать. Вот сейчас на его глазах приносят в жертву имя великого человека. С легким сердцем швырнули сейчас Грибоедова как дань вероломству и жестокости. Какой позор, какой ужас! Тело покойного еще не предано земле, а память о нем уже оплевана самым бесстыдным образом. Лучшие люди, гордость и слава русская, исчезают к радости умов, жестоких и черствых.

Пушкин не мог видеть ни Стрекалова, ни блаженствующих в чопорном самомнении англичан. Он издали поклонился гостям и быстро пошел к лестнице.

Широко забрасывая вперед руки, он прошел мимо отступивших перед ним гостей, невысокий, с высоко поднятой головой, с глазами, одухотворенными горечью и гневом. Он не видел зала, не слышал шума, слышал только голос, тот, что

\* Туман — иранская монета. Равна была тогда трем золотым рублям. всегда приходил в пору трудных испытаний:

«Восстань, пророк!».

**Вчера был день разлуки шумной.**

А. С. Пушкин.

В саду, сбегаящем к берегам Куры густой стеной виноградников, собрались поклонники поэта. Хозяева не пожалели стараний. На деревьях висели туши баранов для шашлыка. Горячие торнис пури, в деревянных мисках джонджоли, жареные цыплята, зелень, столь уважаемая здесь: кинза, тархун, праса, — все было на длинных расставленных под деревьями столах. Вина — кварели, кахетинское, цинондали, карабахское — подавали в серебряных азарпешах — красивых ковшиках.

Но больше всего запомнились песни. Их можно было слушать без конца, так приятен был голос песен грузинских. Пушкину перевели одну из них слово в слово. Песня понравилась какой-то восточной бессмыслицей, имеющей свое поэтическое достоинство.

*Душа, недавно рожденная в раю! Душа, созданная для моего счастья! От тебя, бессмертная, ожидаю жизни.*

*От тебя, весна цветущая, от тебя луна двухнедельная, от тебя, ангел мой хранитель, от тебя ожидаю жизни.*

*Ты сияешь лицом и веселишь улыбкой. Не хочу обладать миром, хочу твоего взора. От тебя ожидаю жизни.*

*Горная роза, освеженная росой! Избранная любимица природы! Тихое, потаенное сокровище! От тебя ожидаю жизни!*

Пушкин не заметил: сзади тихо подошло несколько человек. Они взяли его легко на руки и понесли. И все встали из-за столов, образовав узкую аллею из людей.

На деревьях горели фонари, чадили свечи. Поэта несли медленно, поддерживая бережно руками.

И снова вспыхнула песня. На этот раз понятная: ее пели по-русски захмелевшими голосами: от вина, от радости, необычной встречи.

С времен давным-давно забытых  
В преданьях Иверской земли,  
От наших предков знаменитых  
Одно мы слово сберегли.  
В нем нашей удали начало

И вестник славы и беды,  
Оно у нас всегда звучало  
Алла-верды, алла-верды.

Его принесли к возвышению, усыпанному цветами, и усадили в кресло. Люди глядели на него влюбленными глазами, продолжая петь.

Алла-верды, господь с тобою —  
Вот слова смысл и с ним не раз  
Готовился отважно к бою  
Войной взволнованный Кавказ.  
Нам каждый гость дарован богом,  
Какой бы ни был он страны,  
Хоть даже в рубище убогом, —  
Алла-верды, алла-верды!

В свете бледных огней лица расплывались и добрели. Пушкин встал с кресла, поднял руку.

— Господа!

Голоса умолкли.

— Господа! — Еще раз повторил Пушкин, собираясь сказать о том, как он признателен хозяевам праздника за такую дружескую встречу.

Но, не сказав ни одного слова, он стремительно стал спускаться с цветочной горки. Он шел навстречу песне. Она возникла не здесь, не рядом. Она явственно пробивалась сквозь шум речной волны. Широкими шагами, раздвигая руками виноградные кусты, шел ей навстречу Пушкин. Над рекой горели звезды, растворяясь в черном течении Куры слабыми голубыми лучиками, а по реке плыла лодка, нет — не лодка. Темнота скрывала ее, и казалось, что по реке плыли два огня. Рядом с огнями жила песня.

Пушкин жадно прислушался. Вот тут, в саду, он слышал много песен, но такой, как сейчас, не было. Было в песне что-то похожее и на клекот орлов, парящих в небе, и на шумливый ливень, бушующий над землей, было что-то в ней от стремительного простора гор. Боже мой! Да ведь песня-то знакомая! Разве не приходилось ему слышать подобную песню не в горах, а на степных русских просторах. То была песня другая, с другим мотивом, похожая не на орлиный клекот, а скорее на печальный голос степной горлинки или кукование лесной кукушки. Но и в русской песне степных просторов, и в песне гор жила одна и та же душа, непокорная, тоскующая,

свободная.

На берегу стояли хозяева пира, шумное веселье, подогретое вином, сникло, отошло в садовую чашу, к чадящим свечам, к острому и тяжелому запаху остывшего шашлыка. Здесь была песня, негромкая, но уверенная в своей силе и своей власти над людьми.

Пушкин узнал не только душу песни, он узнал голос певца. То был карачогели, которого слышал он однажды на шумной базарной площади Тифлиса.

О, карачогели, брат мой!

Два огонька, плившие в темноте, растворились во мгле. Пушкин повернулся и медленно пошел в сад.

— Господа! Я благодарю вас за внимание. Поверьте, никогда я еще не был счастлив так, как сегодня.

...Утром Пушкин проснулся поздно. Он видел сон. Полыхала гроза. И гроза вдруг становилась голосом гневной человеческой песни. Оказалось, что песня звучала наяву. Под балконом стоял знакомый карачогели с большим деревянным блюдом на голове. На блюде горой возвышались крупные черные черешни, и блюдо держалось на голове чудом.

Пушкин вышел на балкон, посмотрел вниз. Карачогели пел, поднимая руки к поэту. Пушкин снова оказался во власти неизъяснимого чувства, рожденного вчерашней ночью. Ах, эти короткие и дорогие минуты. Какое богатство принесли они душе его.

**Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы.**

#### **А. Пушкин.**

Николай Раевский писал: чадо торопиться. Действующий корпус находится сейчас под Карсом, но в любое время может двинуться дальше. Пушкина и самого тянуло в действующий корпус. В «Тифлиских ведомостях» он прочитал заметку о Вольховском. В заметке говорилось:

«При взятии крепости Карс штурмом, под предводительством графа Паскевича-Эриванского, когда колонна генерал-майора барона Остен-Сакена под картечным огнем из угловых бастионов, с примерною отважностью бросилась в предместье и на

левый бастион и вырвала оные из рук изумленного неприятеля, овладев 4 орудиями и 5 знаменами; но первый бастион, называемый Юсуф-паша, вооруженный 4 орудиями, не переставал еще производить картечный огонь», — тогда, «подведя на самое близкое расстояние два наших орудия и сделав по оному несколько картечных выстрелов, генерал-майор Остен-Сакен поручил обер-квартирмейстеру Вольховскому с 20 гренадерами овладеть сим бастионом, который исполнил сие с примерной решительностью и немедленно обратил неприятельские орудия во фланг трех соседственных башен крепости»... «Выстрелы полковника Вольховского с бастиона Юсуф-паша с содействием двух наших орудий, близ одного расположенных генерал-майором бароном Остен-Сакеном, произвели необыкновенный успех; неприятель хоть и открыл сильный картечный огонь по войскам, шедшим к форштадту Байрам-паши и Карадагу, но выстрелы его не были столь верны и урон с нашей стороны незначителен»... «Пальба полковника Вольховского с бастиона Юсуф-паша способствовала тому, чтобы заставить умолкнуть все крепостные башни, обращенные к Карадагу».

«Войска наши, занявшие форштадт, где, выдержав несколько картечных выстрелов, взлезли на башни близ крепостных ворот и, овладев 25 пушками и тремя знаменами, бывшими на оных, отбили ворота по распоряжению полковника Вольховского».

«Ах, Суворочка! — с нежностью подумал Пушкин. — Маленький честолюбец».

Он ясно себе представил Вольховского лицейской поры. Вольховский и тогда не свободен был от честолюбия и шел в первых учениках.

Необыкновенное рвение Вольховского в науках однажды толкнуло Пушкина на озорство. Александр I, ходя по классам, спросил: «Кто здесь первый?» Пушкин ответил: «Здесь нет, ваше императорское величество первых, все вторые».

А Суворочка был первым. Лицейские товарищи так его и звали: Sapientia, то есть мудрость. Но эта кличка не закрепилась. Вольховский был умный, рассудительный, логичный, интеллектуальный в высшем смысле. Зато на всю жизнь за ним

сохранилось прозвище «Суворочка». Вольховский богатырем не был. Наоборот — низок ростом, тщедушен, тощ. А готовил себя для военной карьеры. Закалялся, взяв за образец воспитание спартанское. Спал в сутки четыре часа, занимался усиленно гимнастикой. Даже во время подготовки уроков на плечах его лежали два толстенных лексикона Гейма — умеи выдержать любую тяжесть. Он плохо сидел на лошади. Недоставало выправки. Но что такое посадка? Разве ее нельзя выработать? Суворочка садился где-нибудь в уединенном месте на стул, читал книгу и наблюдал за выправкой. Лицейсты обнаружили Вольховского за этой тренировкой. Тогда появились стихи:

Суворов наш  
Ура! Марш, марш, —  
Кричит верхом на стуле...

Суворочка был недоволен своим голосом. Он казался ему недостаточно выразительным. Не тот тембр, не та тональность. В свободное время он ходил на Царскосельское озеро, набирал в рот камней, как Демосфен — кого же взять за образец, как не самого блестящего древнегреческого оратора — и читал, стремясь перекричать шум прибоя, стихи хромого учителя из Спарты Тиртея:

Славное дело — в передних рядах с врагами  
сражаясь,  
Храбромu мужу в бою смерть за отчизну  
приятъ.

Потом лицейских товарищей жизнь разбросала в разные концы. В то время, когда Иван Иванович Пущин и Вильгельм Карлович Кюхельбекер мерзли 14 декабря на Сенатской площади и с энтузиазмом обреченных ожидали смерти, Владимир Дмитриевич Вольховский из крепости Сарайчик, перейдя покрытый льдом Урал, пробирался сквозь пургу вдоль берега Каспийского моря в составе экспедиции Ф. Ф. Берга. Экспедиция шла на Восток, в глубь степей. Не дойдя 200 верст до Хивы, экспедиция, истощив запасы продовольствия, повернула обратно и на 80-й день вернулась в Сарайчик... Вольховский о событиях на Сенатской площади узнал

неожиданным образом. В Сарайчике уже ожидал фельдъегерь с приказанием доставить его, Вольховского, в Петербург в распоряжение следственной комиссии.

Рассказывали тифлисцы Пушкину и о Михаиле Пущине. Это он с десятью солдатами ночью, прикрываясь высоким берегом Карсчая, вышел на территорию, занятую врагом, разбил турецкий пикет и, окруженный врагами, точно наметил расположение батареи, которой завтра предстояло громить турецкую крепость. Но о Пущине газета не писала. Он был декабрист. Верховный уголовный суд лишил его дворянства, чина, разжаловал в солдаты. Пущину особенно было поставлено в вину, что «знал о приуготовлении к мятежу, но не донес».

Вольховского спасло расстояние. От Урала до Сенатской площади было очень далеко. К тому же экспедиция оторвала его от друзей по тайному обществу. С 1823 года он с ними не виделся. «Скопище», как называл Николай декабристов, составляли, по его же словам, два рода людей, заблудшие, умыслу не причастные, другие — злоумышленные их руководители.

Вольховский был отнесен к первому роду. Поэтому было положено заключающиеся в обвинительной записке обстоятельства, до капитана Вольховского относящиеся, оставить без дальнейшего изыскания. «Изыскания были оставлены», но Вольховский взят под неослабное наблюдение жандармских властей. Так и жил Суворочка — неутомимый спартаец, умный, благородный характер — в качестве поднадзорного. О нем заботились голубые мундиры Бенкендорфа. Но надзор был тайный, поэтому Санковский счел возможным печатать о нем, о Пущине — нет. А Пушкину были одинаково дороги оба.

Пушкин ехал быстро, изредка переменяя лошадей на казачьих постах. Все вокруг было как мираж. Грузинские деревни издали казались цветущими садами, вблизи — нет. Вблизи оказывалось: совсем бедные сакли, осененные пыльными тополями.

...Пушкин поднялся на вершину горы Безобдал. Здесь проходила граница между Грузией и древней Арменией. Поэт задержался на вершине. Вдали маячили бледно проступающие из голубеющей дали горные хребты. Внизу расстились зеленые

нивы. Пушкин взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться к свежим равнинам Армении. Увлеченный необычной красотой окружающей картины, он совершенно незаметно проехал казачий пост, где должен был переменить лошадей.

Глядел вокруг и недоумевал: что это? Он искал, как всегда, слова сильного и точного, которое отвечало бы полностью чувству, рожденному окружающим. Слово было найдено, он видел вокруг цветущую пустыню. В стороне виделась гряда камней. Оказалось — это сакли. Из груды камней-саклей слагалась деревня — голая, серая, пыльная. Пушкин остановился. На плоской кровле сакли сидело несколько женщин в пестрых лохмотьях. Они внимательно слушали его, пока не поняли, после старательных разъяснений, что ему хочется есть. Одна из женщин спустилась в саклю и принесла сыру и молока.

Пушкин ехал около десяти часов, страшно устал, но отдыхал здесь всего несколько минут. Что-то непонятное томило его. С ним бывало порой: смотришь вокруг — все, как и всегда, будто на своем месте: люди, дома, деревья. Но все вдруг становится далеким, чужим, холодным. И в душе возникает такое горькое одиночество, что становится страшно. Пушкин не любил такого чувства. Так вот и сейчас. Он напрягал все силы, чтобы освободиться от тяжести этого чувства. Оно тяготило, как предчувствие страшной беды.

Вскочил на лошадь. С высокого берега хорошо была видна крепость Гергеры. Переехав реку, Пушкин внезапно остановился, широко открыл глаза, обмер. Два вола, запряженные в арбу, подымались на кругую гору. Несколько грузин сопровождали арбу.

— Откуда вы?

— Из Тегерана.

— Что везете?

— Грибоеда.

Пушкин слез с лошади, снял шапку, молча пошел за арбой. Проклятое одиночество. Горы, вола, арба и тишина, беспощадная тишина. Она становилась все страшнее от того, что с одинаковой меланхолической жестокостью скрипела арба, будто ржавой пилой пилили кости. А на арбе увязан был канатами оцинкованный гроб, не гроб, а

ящик с тем, что осталось от Грибоедова. От живого Грибоедова, от его выдающегося ума. Даже от памяти о нем торопились отделаться. В Зимнем дворце танцевали кадрили и готовили подарки для Хосров-Мирзы — сына Аббас-Мирзы — наследника шахского трона — сына Фетх-Али-шаха. Того самого Фетх-Али-шаха, который, разглаживая длинную бороду — самую длинную бороду в мире, — сидел и думал и весь дворец вместе с ним думал, пока в русском посольстве убивали Грибоедова и его сотрудников. Подарки были щедрые — кресты, золото, бриллианты — соразмерно с достоинством коронованных убийц.

Пушкин шел за арбой, пошатываясь от ноющей в сердце боли. Год тому назад он виделся с Грибоедовым, собиравшимся в Персию с мрачными предчувствиями. Ехать ему не хотелось, назначение походило на ссылку. Он говорил с горькой иронией: «Потружусь на царя, чтобы было чем детей прокормить». Пушкин успокаивал его. Грибоедов ответил: «Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей». Грибоедов знал: он едет в самое пекло междоусобицы. У Фетх-Али-шаха была тысяча жен в гареме и 935 сыновей и внуков. Для междоусобицы условия благодатные. Но Грибоедов до нее не дожил. Его свела в могилу не междоусобица, а английское корыстолюбие, от которого спасти его было некому. Грибоедов слишком хорошо знал, во что ценится жизнь человеческая в России. Цену ей определил Николай на Сенатской площади. Там по жестокой его воле пролилась горячая кровь людская. Кто отомстит за нее? Не прошло и года, как Грибоедов, переехав Безобдал, по дороге в Тебриз глядел на солдатские могилы, мысленно прощался и со своей жизнью: была она так же одинока и беззащитна, как и солдатские могилы.

Поэта душила скорбь. Ничем и никогда нельзя восполнить понесенную утрату.

Но думал он еще и о другом, о славе, не достоинствами человеческими приобретаемой, и о высоких достоинствах, у которых отнимают славу. Скрипучая арба везет истерзанное тело человека, никогда не посягавшего на славу, но в котором сочеталось столько высоких достоинств, что их хватило бы сразу и для славы Наполеона

и для славы Декарта.

Чудесное создание человек, но придумаешь ли что жесточе его судьбы?

Способности человека государственного оставались без употребления, талант поэта не признан, даже холодная и блестящая храбрость Грибоедова оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном.

Из-за Безобдала появилась туча. Плыла она, должно быть, издалека, словно из самого Петербурга, так она была тяжела и черна. Все сразу потемнело.

Да мог ли жить человек под этим небом, где все кажется черным от предательства, злобы, несправедливости! Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов.

Туча, перевалив через Безобдал, быстро стала опускаться на реку. Арба с гробом Грибоедова исчезла в черноте. Пушкин стоял один. Слов уже не осталось никаких, была одна боль.

...В Гергерах Пушкин встретил Бутурлина — адъютанта военного министра графа Чернышева. Чернышев посылал Бутурлина в действующий корпус с тайным умыслом: донести — каково в корпусе, в особенности о декабристах, оставлен ли ими прежний ход мыслей. Бутурлин был для этого гожд. Ехал в действующий корпус не без охоты и старания. Для вида ему нужно было участвовать в сражении. Тогда была бы награда за донос, но по внешним данным — за смелость, проявленную в сражении. Бутурлин сгорал от нетерпения, горячился, размахивал руками, рассказывал Пушкину о том, что готов пролить кровь за отечество. Пушкин не знал истинной причины его поездки на фронт, но восторг Бутурлина ему не нравился. Он закрывал глаза, когда Бутурлин начинал говорить о своих патриотических чувствах. Не хотел видеть лжи.

Бутурлин за славой ехал со всеми удобствами. У него была своя кухня, повар. Он угостил Пушкина великолепным обедом, все равно, что дома, в Петербурге. За вином положили путешествовать вместе. Но после обеда, когда Бутурлин спал, поэт велел

человеку оседлать лошадь. Человек просил дозволения отдохнуть. Пушкин отправился один, без проводника. Дело заключалось не только в том, что Бутурлина Пушкин не мог больше видеть. Черта в нем, в Бутурлине. Дело было в том чувстве, которое сам поэт называл «демоном нетерпения». Порыв был обычным состоянием. Поэт жил всегда, постоянно с таким чувством, что жизнь потускнеет и обесславится, если день завтрашний будет походить на день сегодняшней. Он терпеть не мог покоя. Со стороны же казалось все это странностью путешественника. На почтовых станциях Пушкин не ожидал лошадей, а уходил вперед пешком, как вот и на Военно-Грузинской дороге, оставив попутчиков с оказией, сам пошел вперед. Он шел и радовался радостью вперед идущего...

Кругом желтели созревшие хлеба. Но чем дальше уходил взгляд, тем больше менялись краски. Желтые сменялись зелеными. Они густели, делались похожими на море, которое видишь издалека. Еще дальше, еще выше лежала белая, прозрачная голубизна, сливавшаяся с небом. Сколько же было тут великолепной красоты, если бы можно было глядеть только на нее.

У минерального источника, протекавшего у самой дороги, Пушкину повстречался поп, ехавший из Эривани в Ахалцых.

— Что нового в Эривани? — спросил его Пушкин.

— В Эривани чума. А что слышно в Ахалцыхе?

— В Ахалцыхе чума, — отвечал ему Пушкин.

Обменявшись сими «приятными» известиями, они разъехались. Пушкин смотрел на созревшие поля. В голове его родился образ: «жатва струилась», именно «струилась», как большой тихий поток, и «ждала серпа».

На пути возник казачий пост. Но Пушкин, подчиняясь все тому же «демоном нетерпения», не остановился здесь. Он хотел двигаться. Урядник предупредил:

— Ваше благородие! Будет буря! Заночуйте лучше с нами.

Пушкин не согласился. Он непременно хотел попасть к ночи в Гумры, откуда начиналась турецкая кампания 1829 года.

И дождь действительно пошел. Сначала

слегка покрапывая, потом все сильнее и сильнее. Пушкин потуже завязал бурку, накинул на картуз башлык. Была такая темнота, что ехавший впереди казак угадывался только по всхрапывавшей изредка лошади. Пушкин промок до последней нитки. Стало холодно. Эта темная и холодная ночь в горах, далеко от родных мест заставила его улыбнуться в душе. Вспомнился Лир в степи, терзаемый грозой и бурей. Лир без гнева на бурю, потому что в душе была большая обида и большая горечь, обида на дочерей, расплатившихся с ним черной неблагодарностью. У Пушкина не было ни дочерей, ни тем более царства. Он вспомнил Лира, очевиднее всего, потому, что, работая над «Борисом Годуновым», много читал Шекспира и полюбил его за смелое и вольное изображение характеров. Ну, что ж? Вот этот самый дождь в горах, жестокий и холодный, терзает его не менее, чем терзал Лира в степи. Но стоять лицом к лицу с расходившейся природой несравненно приятнее, чем с врагом, скрытым и злым. У природы нет злого умысла. Дочери Лира остались на севере в чопорном петербургском свете, в кабинетах III отделения, на приемах и раутах. И пусть себе льет на здоровье холодный дождь и дует холодный ветер. Право же, это совсем не страшно. Душа его светла и спокойна. Никто не заливает ее ядом клеветы и злобы.

Казак, ехавший впереди, внезапно остановился. Остановился и Пушкин. Рядом оказалась палатка. В ней, один возле другого, спали двенадцать казаков. Заслышав приехавших, они проснулись, потеснились, дали гостю место. Пушкин стоял, покачиваясь от усталости.

— Ложись, ваше благородие, чай, утомился.

Казачьи скручивали сигарки, выходили один за другим из палатки. Пушкин повалился на бурку и мгновенно стал засыпать, как в далекие годы детства, чувствуя сквозь сон, что вокруг палатки снова заструился с неровным шумом дождь.

Проснулся он на заре, после тихого и крепкого сна. Потянулся до хруста в костях и вышел из палатки. Боязнь простуды, волновавшая вчера, прошла. Какая уж там простуда: взял бы да и перемахнул так вот с ходу, одним махом, через белеющую вдаль двуглавую гору. На чистом голубом небе



сияло солнце, все кругом было первозданно чистым: и зеленеющий вдали лес, и снежной белизны гора, и небо, и солнце. И только маленький городок являл картину унылую, над ним витала печаль. В самом начале Персидской войны сюда вторгся Гассан-хан.

Он превратил маленький городок в груды развалин. Людей в Гумрах почти не осталось, и утро в Гумрах поразило Пушкина своей необычной мертвой тишиной.

Солнечные лучи, скользившие по развалинам, только усиливали впечатление опустошенности, небытия, кладбищенской тишины.

Казачи давно проснулись и варили кашу. Они были здоровые и красивые. Но Пушкин никак не мог отрешиться от мысли, что они здесь для войны и, может, совсем недалеко то время, когда от их красоты и здоровья ничего не останется, останется только прах и пепел.

Казачи оставляли Пушкина позавтракать. Он отказался. Казачи по-своему поняли его нетерпение. Один, постарше, с черной бородой, в которой кое-где пробивалась седина, сказал:

— А ты не горячись, ваше благородие! Чужая-то сторонюшка не медом полита.

Казачи невесело засмеялись.

Пушкин ничего не ответил на это. Ему не терпелось как можно скорее достичь Карса и встретить милых сердцу людей. Он спросил:

— А далеко ли до Карса?

— Да верстов сто будет.

Пушкин вскочил на лошадь и двинулся вслед за проводником.

Но слова старого казака запали ему в душу. Он их понял очень хорошо: не пленяйся бранной славой. Так и ехал, снова и снова повторяя их, пока не увидел впереди реку.

— Вот и Арпачай,— сказал казак.

Тогда он пришпорил лошадь и быстро поскакал с чувством неизъяснимым. Арпачай — наша граница. Река с ровным металлическим шумом неслась вперед, пенясь у каменистых берегов. Пушкин долго стоял, молчал, думал. Думал о многом, сразу обо всем, о том, что важнее всего для человека, для жизни, для России. «Никогда

еще не видел я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествие было моей любимой мечтой. Долго потом вел я жизнь кочующую, скитаясь то по Югу, то по Северу, и никогда еще не выдавался из пределов необъятной России».

Думы были сложные и трудные. «Любезное отечество» душило. И не раз возникали втайне грустные мысли: бежать, пока петля не затянулась насмерть. И уже поговаривали, что Пушкин намеревается бежать из России. Враги со злобой, друзья с сочувствием. Соболевский, горячий почитатель его поэзии, в письме из Флоренции к Ивану Васильевичу Киреевскому болтал всякий вздор. Во Флоренции он, как видно, предавался увеселениям. Письмо начиналось беззаботно, игриво: «*О, Иван, Иван, Иван!!! Душа моя, голубчик мой, красавица моя и проч. и проч. и проч.*».

В том же игривом тоне писал и о Пушкине: «*Скажи Пушкину, что я пришлю ему 200 бутылок Aliatico на следующих условиях: 1. он мне напишет семь страниц сплетен своего сердца; 2. известит меня о здоровье Людмилки, Анны Петровны и Лизы; 3. назначит мне, к кому адресовать в Петербурге; 4. заплатит мне 250 рублей, ибо Aliatico здесь не более 125 centimes il fiasco; 5. пересылку выплатит, но это впрочем вздор, равно как и пошлина.*».

Но игривый немножко пьяненький тон Соболевского (Флоренция, как видно, вскружила ему голову: «*Не могу не похвалиться Флоренцией. Я везде принят, как с т а р ы й знакомый, в с ю д у позван и, вероятно, через три дня буду давно и в с ю д у забыт при отъезде, ибо Флоренция — трактир Италии*») внезапно уступал место тону совершенно серьезному. Соболевский писал трезво, озабоченно, таинственно: «*Прошу тебя написать мне больше о Пушкине, как и когда приехал, где и как жил, в кого влюблялся и когда едет?*».

Когда едет? Это означало: когда Пушкин будет бежать за границу?

И вот теперь Пушкин стоял на границе, на границе земли русской и земли турецкой. Ему были известны разговоры о стратегических планах турецкой кампании. Паскевич думал достичь Трапезунда и Самсуна. Через тот или другой порт легко

было попасть в Европу. Боже мой! Может, это сейчас и есть главное: бежать, переступив Арпачай.

Бежать. Значит, покинуть родину: забыть ее поля, ее леса и реки, синие сумерки, жгучие морозы и умный усердный Народ ее. Покинуть родину, которой сама история определила великое предназначение. Не значит ли это дать потухнуть сердцу своему и уснуть своей мысли. Но чем тогда жить будешь?

Два чувства равно близки нам—  
В них обретает сердце пищу,  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.  
На них основано от века,  
По воле бога самого,  
Самостоянье человека,  
Залог величия его.

Конь, наклонившись, пил воду из Арпачая. Казак-проводник пристально смотрел на Пушкина. А Пушкин глядел в себя, ждал ответа. Да нет. Не ждал он ответа. Ответ был давно. И сейчас, в раздумьях над судьбой своей родины и своей судьбой, он только повторил его с гордостью еще раз. «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории ваших предков, такой, какой нам бог ее дал».

Пушкин быстро вскочил на лошадь и переехал через Арпачай. Впереди лежала дорога на Каре. Поэт не медлил ни минуты.

В дороге он встретил офицера, который сказал ему, что армия уже покинула Карс. Известие встревожило Пушкина. Он пришпорил лошадь. К вечеру были в турецкой деревне. Он стал требовать лошадь. Турки не давали. Изъясниться с турками было невозможно. Пушкин не знал турецкого языка, кроме двух слов, которым научили его казаки: вербана ат (дай мне лошадь). Турки не знали русского. Но потом Пушкин смекнул. Турки очень любят деньги — всякие: английские, французские, гляди, пойдут и на русские. Он вытащил из кармана и показал деньги. Все сразу переменялось. Турки дали не только лошадь, но и проводника.

окруженный горами, лежал город. Пушкин приподнялся в седле. Сейчас, подумал он, решится моя судьба. Здесь узнаю я, где

находится наш лагерь и будет ли мне возможность догнать армию.

К Карсу подъехали в полдень. У ворот слышен был русский барабан. Часовой принял от Пушкина билет и отправился к коменданту. Дождь, заставший в дороге, еще больше усилился. Прошло не менее получаса. Пушкин весь промок. Наконец появился часовой, и ворота открыли. Пушкин потребовал, чтобы проводник вел его прямо в баню. Сначала его в дороге заносило пылью, потом поливало дождем. Баня была нужна позарез. Но постигло огорчение. Баня оказалась в мало привлекательном доме (не то, что тифлиские). Но беда состояла даже не в этом. Проводник стучался упорно и долго, а ему так и не открыли. Дождь все лил. Наконец на стук вышел из соседнего дома молодой армянин.

— Русский? — сказал он и весело улыбнулся. Он схватил Пушкина за руку, как будто он встретил своего давнишнего друга, и потащил его в дом. Их приветствовала старуха мать. Она поднялась навстречу Пушкину и поцеловала руку. Вошел брат, ему было не более семнадцати лет. Братья хорошо знали русский язык, часто бывали в Тифлисе, и пока старуха мать готовила ужин, они рассказали Пушкину, что лагерь находится в 25 верстах от Карса. Пушкин успокоился. Братья, перебивая друг друга, стали рассказывать о том, как русские солдаты брали Карс. Говорили они об этом с нескрываемым восхищением. Турецкое владычество кончилось, и это родило у них искреннюю радость.

Но подоспел ужин. Старуха приготовила баранину с луком. Пушкин ел, похваливал — баранина воистину казалась ему верхом поваренного искусства. Стало вдруг спокойно, как дома. Но не в Михайловском. В Михайловском спокойно никогда не было. Впрочем, где его дом? Дом его, кажется, всегда в дороге. Дом его — это поэзия, охраняющая, как святыню, нравственную доблесть и душевное благородство. Пушкин легко засыпал, растянувшись на бурке против угасающего камина. Тут же спали и его новые друзья.

Рано утром, вместе с младшим братом, хозяйка звала его Артемием, Пушкин отправился осматривать Карс. Артемий

сгорал от удовольствия. Слыханное ли дело! Русскому гостю он старался как можно подробнее рассказать о том, как был взят Карс. Карс — первоклассная крепость. С севера и северо-запада по левому берегу Карс-чая к самому городу подступают отроги Саганлугского хребта. Непреступно вздымались ввысь Чахмахские и Шорохские высоты. Тут же в овраге, заваленном огромными камнями, шумел Карс-чай. Карс был более открыт с южной и восточной сторон, но тут все открытое место усеяно фортами и укреплениями, а внутри крепости, на высокой скале Нарын-Кала, поднималась цитадель. Три яруса пушек хищно глядели на открывавшуюся у города равнину.

Пушкин, осматривая укрепления и цитадель, недоумевал, каким образом наши войска могли овладеть Карсом.

Карс русские взяли год тому назад, и в Петербурге и в Москве тогда много говорили о взятии Карса. Подвиг совершили солдаты, а говорили о Паскевиче, главнокомандующем, графе Эриванском, будто и в самом деле он один овладел Карсом. Николай отметил его почетной наградой. Он предоставил Паскевичу выбрать для себя, для личного пользования, два орудия из тех, что захвачены в Карской цитадели. А Карс взяли солдаты, значит и подвиг был народный, но об этом «Северная пчела», восхвалявшая Паскевича, молчала. На то и издавал ее Булгарин, верный слуга престола и тайный агент третьего отделения. И героями были еще друзья Пушкина, те, что стали солдатами после 14 декабря. Но страшную несправедливость узаконили манифестами, приказами, парадами и высочайшими наградами. От грустных мыслей его отвлек неумолчный говор Артемия. Тот не без гордости, с сияющими глазами рассказывал, как он с крепостной стены помог русскому солдату взобраться на нее, как его увидел турок и прицелился, и быть бы ему убитому, если бы не солдат, которому он помог преодолеть крепостную стену. Солдат раньше расправился с турком, а Артемий стал помогать другим солдатам. Он хватал их за руки и тащил на стену. Рассказывал Артемий с упоением. Пушкин посмотрел на него, улыбнулся и предложил ехать вместе в армию. Артемий с радостью согласился, и

Пушкин послал его за лошадьми. Вскоре он появился вместе с офицером. Полы рыжей черкески офицера были заткнуты за пояс, и блестели глаза — может, от кахетинского, может, от сознания собственной значимости. Он потребовал от Пушкина письменного предписания. Пушкин вытащил из кармана первый попавшийся клочок бумаги. Это был набросок послания к калмычке.

Прощай, любезная калмычка!  
Чуть-чуть назло моих затей,  
Меня похвальная привычка  
Не увлекла среди степей  
Вслед за кибиткою твоей.

Глаза офицера блестели, но не видели. Он повертел в руках клочок бумаги и возвратил Пушкину. Через полчаса Пушкин выехал из Карса. Вместе с ним, вооружившись куртинским дротиком и кинжалом, рядом на турецком жеребце скакал Артемий, сгорая от нетерпения скорее сразиться с проклятыми турками.

Чем больше Пушкин удалялся в глубь турецкой территории, тем больше чувствовалось дыхание войны. По обе стороны дороги тянулись поля, засеянные хлебом, и довольно часто возникали на пути деревни. Но хлеб осыпался, а в деревнях не было жителей. Их выжила война, и, бог весть, как она с ними поступила. Он видел опустошенную сиротливую землю и боялся, чтобы опустошение не проникло от этой скорбной земли и к нему в душу. Конь медленно поднимался в гору, тяжело переступая ногами; начинались предгорья Саган-Лу, древнего Тавра, и когда Пушкин, оторвавшись от своих мыслей, поднял глаза, перед ним возник внезапно большой полотняный город. Это был действующий корпус, раскинувшийся вдоль берега Карс-чая.

